



Моей семье

И грустен дом. Последнего ушедшего комфорт,
Оставленный в моменте предзабвенья.
Он жаждал бы вернуть обратно всех,
Но вместо этого лишен возможности мгновенья
Продолжить. И сердце подарить кому-то,
Вернуться снова к самому началу.
Вернуться к радости ушедшей почему-то.
Взгляни на фото и на разложенное серебро,
Там музыка застыла у ф-но. И эта ваза... как давно.

Филип Ларкин

Любовь — это ничто, ничто, ничто из того, что
о ней говорят.

Лиз Фэр

ВСТУПЛЕНИЕ



Давным-давно жила-была девушка, которая работала в большом городе.

Девушка — то есть я, а произошло это тринадцать лет назад в далеком 1998 году — была еще зеленой малышкой двадцати восьми лет. У меня была отличная квартира в этом большом городе, любимая работа репортера в «Филадельфия инкуайрер» и свободное время, в которое я писала художественную литературу.

У меня была компания замечательных друзей и коллег: веселых, циничных идеалистов. У меня была собака, которую я обожала, — трясущийся кроха рэт-терьер, изящный и нервный, который лежал на моей постели, скрестив лапы, и смотрел, как я одеваюсь, с глубоким ужасом на маленькой усатой мордочке, словно думал: «Ох. О нет. Ну пожалуйста. Только не вот это».

В целом жизнь была очень даже замечательной. А вот личная жизнь — сплошной катастрофой.

Я выросла в живописном пригороде Коннектикута, старшая из четырех детей девочка-заучка, которой обычно приходилось справляться с той или иной слишком уж огромной частью тела (слишком крупным для такого лица носом, слишком большой для двенадцатилетки грудью, да и в целом телом, которое, вообще говоря, было куда объемнее, чем следовало).

Родители меня любили. Но управляясь с еще тремя детьми, мать бывала не особо внимательна, а отец, психиатр по профессии, склонный к саркастическим высказываниям и мрачным настроениям, редко скупился на слова, если хотел дать мне понять, что я его чем-то разочаровала — учебой в школе, внешним видом, отчаянными попытками общаться с детьми моего возраста.

Моей опорой и спасением стало чтение. Эдакое укромное местечко, куда я могла заползти и спрятаться от непонятного мира; одеяло, в которое я могла закутаться. Я жила в окружении книг — медицинских учебников, толстых биографий и романов, сложенных стопками на полках из необработанных досок и шлакоблоков в доме-ранчо на Симсбери-Мэнор-драйв, и потом, когда мы переехали, на встроенных книжных полках в общих комнатах более просторного колониального дома с четырьмя спальнями на Харвест-Хилл.

Родители накопили сотни книг, и все они были свалены на эти полки: твердые переплеты и мягкие, учебники и бестселлеры, Сильвия Плат и Дорис Лессинг, Генри Киссинджер и Дэвид Хэлберстам, Сол Беллоу и Филип Рот. Модное чтиво, справочная литература, «Вдова» Линн Кейн с яркими описаниями смерти ее мужа от рака толстой кишки, после которых мне снились кошмары, и нечто под названием «Детская история мира» — все это было там, все это было доступно. Нас четверых поощряли читать все, что нам захочется, но при условии, что мы сможем доказать родителям, что понимаем прочитанное.

Помню, как сунула нос в отцовские пахнущие химикатами книги по медицине, потому что — ну дык! — там были картинки с голыми людьми. В результате я и по сей день знаю о «недугах гениталий» куда больше, чем стоит человеку без медицинского образования.

В промежутках между продолжением своего полового воспитания я читала романы и эссе, «Нью-Йоркер» и «Нью-Йорк таймс», научную фантастику и томики «Стар Трека» и Стивена Кинга, которые покупала на собственные деньги в букинистическом магазине в Кантоне. Я по максимуму использовала библиотечную карточку, набирая книгами бумажные продуктовые пакеты. Я читала в любой удобный момент и неудобный тоже — например, во время диктанта во втором классе.

И хоть я, возможно, и была читателем мирового класса, найти общий язык со сверстниками мне не удавалось. Я перешла из второго класса в четвертый в эпоху, когда ребенка стремились скорее загрузить знаниями, нежели помочь вписаться в общество. Моим новым одноклассникам, всем из себя вроде как привлекательным и шикарным, непринужденным друг с другом и с окружающим миром, мои шутки не казались смешными. Они меня не понимали, а я в ответ, вероятно, относилась к ним довольно надменно и пренебрежительно.

Но меня понимали и поощряли некоторые учителя. Помню, учительница в первом классе давала мне бумагу и позволяла оставаться за партой и писать рассказы, а не выходить на перемену, где другие дети пялились на меня, словно я — метеорит, который только что рухнул на площадку для игры в вышибалы прямо из космоса, дымящийся и вонючий. Но в двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет похвала учителей и хорошие отметки за тесты — так себе утешение, ведь на самом деле тебе хочется быть популярной (или хотя бы занять парочку друзей) и чтобы мальчишки считали тебя симпатичной (или хотя бы не совсем ужасной), хочется непоколебимо верить, в глубине души, что в мире есть хотя бы один мужчина — твой отец, — который считает тебя красивой и достойной любви.

К шестнадцати годам и окончанию старшей школы я начала понимать что к чему. У меня появились друзья, которые все же смеялись над моими шутками, потому что я научилась подгонять свое поведение под общественное потребление. У меня появился первый парень, и я наконец получила водительские права, и попала в команду по гребле, и каталась на лыжах зимой в составе команды по лыжному кроссу (моя старшая школа входила в число немногих государственных школ страны, которые предлагали как греблю, так и лыжный кросс). На горизонте маячил колледж, а за ним виднелись угрожающие очертания жизни — настоящей, взрослой жизни. Я знала, что найду еще больше «своих» людей. Я сбегу из пригорода, буду путешествовать, жить в больших городах, находить приключения и влюбляться.

Той осенью, когда мы возвращались из поездки в Принстон и Пенсильванский университет, мать сказала, что отец уходит. А дома тот все усугубил, объяснив, что не желает быть не только мужем, но и отцом. «Думайте обо мне скорее как о дядюшке», — наставлял он нас, прежде чем исчезнуть на месяцы, а иногда и годы. Периодически он появлялся собственной персоной и заплетаящимся языком принимался разглагольствовать, как плохо с ним обращалась наша мать... а однажды, когда мне было двадцать пять, он явился, чтобы пригласить меня на свою свадьбу с женщиной скорее моего возраста, чем его. Временами он влипал в проблемы с законом, и мы узнавали, где он и чем занимался, из газет. Однажды он загремел в тюрьму. Был нормальным человеком в браке с детьми, но медленно и печально скатился и стал тем, кто вызывает желание перейти улицу, лишь бы избежать встречи. В какой степени его упадничество, деградация и в конечном итоге смерть в 2008 году в возрасте шестидесяти шести лет связаны с психическими заболеваниями, самолечением и зависимостью, я уже

никогда не узнаю. Когда он ушел, когда мне было шестнадцать, он отделился от нас и стал чужим человеком. Он так и не встретился с тем, кто однажды на мне женится, не увидел моих детей, и он совсем не знал меня взрослой.

Не желая отставать, мать в возрасте пятидесяти четырех лет тоже нашла себе молодую любовь — женщину, с которой познакомилась в бассейне еврейского общинного центра в Уэст-Хартфорде. С тех пор я ни разу не сунулась в воду. Всякий раз, как я приезжаю домой, мать спрашивает:

«Дженни, хочешь поплавать?»

«Ни за что», — отвечаю я.

«Это не заразно!» — шутит она.

«Еще не доказали», — отбрываю я.

Новый роман случайно вскрыл мой младший брат, когда приехал домой из колледжа постирать вещи, принялся рыться в ванной в поисках кусачек для ногтей и обнаружил пачку любовных писем. С тех пор нам стало невероятно легко выбирать ему подарки — теперь мы каждый год вручаем ему кусачки.

Это были мои родители, моя история, но не я сама. Я думала, что тяжелый труд и усердие рано или поздно приведут меня туда, где упоротая семья уже не будет иметь значения, не сможет больше причинить мне боль. В свои двадцать с небольшим я проделала путь от редакции маленькой газеты до средней и, наконец, попала в «Инкуайрер», где писала статьи и рецензии о телевидении, поп-культуре, поколении X, Голливуде и моей неиссякаемой необъяснимой любви к Адаму Сэндлеру. Я сочиняла короткие рассказы, которые попадали в печать, и пыталась выдавать романы, которые туда не попадали, а еще сценарии, журнальные колонки и все остальное, что только могла найти или хотя бы представить на рынке. Я была профессионально успешна, продуктивна

и, по всем внешним проявлениям, счастлива. Я пережила бурное детство. Я пережила родителей — отсутствие отца, новую жизнь матери. Я могла, как мне казалось, пережить что угодно.

То, что чуть меня не погубило, оказалось совершенно банальным, заурядным расставанием. Это как победить в марафоне, а потом очутиться в больнице, потому что споткнулся о бордюр по дороге домой.

Я несколько лет встречалась с парнем. Разрыв назревал уже давно, и я была его инициатором: я подозревала, что наша потрясающая химия все-таки не перекрывает то, что по большей части мне не особенно нравилось находиться в его обществе. Он был репортером газеты в соседнем штате, неплохим парнем, веселым и отзывчивым, однако по каким-то непостижимым причинам, по которым друг другу не походят два человека, которые по всем параметрам вообще-то должны, он, так сказать, действовал мне на нервы.

Так вот, мы расстались, и некоторое время со мной все было хорошо... пока через пару-тройку недель мой разум не сыграл злейшую шутку и не убедил меня, что я просто обязана снова сойтись с этим парнем. Что он, вообще-то, единственный, кто когда-либо меня любил, или понимал, или желал видеть обнаженной. Что, если мне не удастся убедить этого парня вернуться ко мне, я навсегда останусь одна, и моя жизнь оборвется какой-нибудь ужасной, шаблонной смертью одинокой девушки, в пустой одинокой квартире, и собака обглодает мое лицо... а собака у меня, как вы помните, очень маленькая. Обглаживание наверняка будет очень и очень быстрым.

Я забросила удочку. Парень, разумеется, совершенно не горел желанием возобновлять наши отношения. Его жизнь уже двигалась дальше. Он был счастлив. А я сходила с ума. Не могла спать, не могла сосредоточиться,

не могла перестать о нем думать. На работе я по десять раз на дню проверяла голосовую почту, вдруг он звонил. Следила за гороскопом и заливалась слезами, если ему светил благоприятный для любви период. Штудировала зарождающийся веб-сайт его газеты в поисках намеков на то, чем он там занимается и с кем. Приказывала себе не думать о нем, но от этого мыслей становилось лишь больше.

Однажды поздно ночью, после месяцев отчаянного воздержания — я отмечала жирным красным крестиком каждый божий день, когда ухитрялась устоять и не позвонить, — я набрала его номер. Он ответил после первого же гудка, а значит, уже лежал в постели (дело было в ту эпоху, когда портативные телефоны еще не распространились повсеместно, и его аппарат, уходящий проводами в стену, располагался на прикроватной тумбочке). По голосу, еще до того, как он сказал это вслух, было ясно: он не один.

Я кое-как выдавила подобие извинения, бросила трубку, села, полностью одетая, на унитаз, сгорбилась, обхватила колени и расплакалась, уверенная, что умру и смерть будет желанным избавлением от мучившей меня боли. Как люди такое переживали, гадала я. Как проходили через такое и продолжали пытаться снова полюбить?

Спустя полгода страданий, слез и бесконечной одержимости — шесть месяцев, на протяжении которых я была убеждена, что радио у меня в машине программировал сам Господь Бог и проигрывал песни ровнехонько под мое состояние; шесть месяцев подпевания «*My Heart Will Go On*» с плохим франко-канадским акцентом — нечто внутри меня подняло голову и сказало твердо и ясно: довольно.

Нужно было что-то сделать, забыть его, перестать прокручивать в голове каждый наш разговор, каждую